

Интервью номера

Елена ЯМПОЛЬСКАЯ

— Эдвард Станиславович, нет надежды, что вы напишете новый «Наш Декамерон»?

— Нет. Такой надежды нет.

— Какая жалость. Подобно студенту духовной семинарии, увлекающемуся «Дон Жуаном», мне из вашего творчества ближе всего «Декамерон».

— Я понял. Поверьте, многие мои корреспонденты из разных стран делают с вами это пристрастие. Из Греции мне писала молодая женщина, которая работала там в ночном баре разговорщицей. Знаете, что это такое?

— Нет.

— Мужик пьет, и ему надо выговориться. В том числе, и о сексе. Она с ним разговаривает. Но ничего больше.

— Гейша.

— Гейша. Она играет в любовь. Она не пьет, мужики пьют, заказывают, в этом профит ресторана. Клиенты все постоянные. Если она видит, что уже пришел следующий, она говорит: я бы с удовольствием осталась с тобой, но, понимаешь, работа. Вон там сидит этот, все приходит и уходит, как он мне надоел... Первый отвечает: ладно, все понимаю, завтра приду. Она подсаживается к новому и говорит: ты извини, я бы раньше к тебе подошла, но тот никак не отпустил... Мужики отлично знают их приемы, но стараются не думать.

— Напишите еще одну пьесу про любовь.

— Не могу. Не знаю, почему. Вернее, знаю. Не могу, потому что не хочу. Когда делал «Спортивные сценарии...», уже не хотел. У кого-то тогда статья хорошо называлась — «104 страницы про ненависть». Я максимум, что могу написать, типа «Я стою у ресторана...». Про женщину могу. Но не про любовь. Хотя, что требуется сейчас стране — это пьеса про любовь.

— Потому и говорю.

— Здесь нужно наполнение души соответствующее. Нужен восторг. Молодые люди, которые должны писать про это, тупо пишут про что-то другое, про что они не знают. И все придуряются. А тот, кто может писать ПРО ЭТО, боюсь, его просто отсеивают. Потому что чтецами и судьями выступают такие же, придуряющиеся.

Простота сегодня наказуема. А любовь — это необычайная простота. Это ясность. Это двое, которым необычайно нескучно друг с другом. И все простые события приобретают совершенно фантастическое ощущение. Дело не в том, что я не способен это испытывать. Я не способен это написать. Хотя, конечно, попробовать любопытно... Но мне надо сейчас закончить роман про страну, очень большой, очень ясный, очень реалистичский.

— Модное слово «сага»?

— Нет, я не умею саги писать. Это сцены, которые сменяются в убыстряющемся ритме. Все торопится, сокращается язык, начинается двадцатый век, а половина живет еще в девятнадцатом, они ритмически не совпадают... И дневники людей девятнадцатого века, того же государя...

— Вы этот роман, по-моему, давно пишете. Но о нем говорили года два назад.

— Да, давно пишу. Торопиться мне некуда. Захочется издавать, могу хоть кусками. Это не театр. Что ни издай, это все равно ты. Я не тороплюсь, потому что, когда вещь закончена, она для меня ста-

новится мертвой. Я перечитывать не могу, править не могу. Самое интересное — быть внутри, понимать, куда ты идешь. Удивительное чувство. И такое же удивительное чувство, когда смотришь в глазок камеры. Когда он загорается, я так радуюсь. Не знаю, как бы я жил без телевидения...

Так вот, в романе мне приходится все время заниматься любовью. Там герой, который, по всему, должен любить, но он, как это бывает у очень красивых людей, любить не умеет. Он знает, как должно быть, исполняет эту роль и очень удивляется, что, когда он бросает женщин, они уходят с облегчением...

Состояние описания любви, оно божественно. Я не уверен, что мне в романе это удастся. Там мало простодушной радости, там любовь все-таки молодых людей, перед заходом солнца.

— Перед заходом — может быть, лучшая любовь из всех, какие бывают.

— Да. Но изумительно, когда на восходе. Когда люди начинают попадаться, как слепые, когда бешеная ревность, когда готовы убить, потому что ранить для них маловато... «104 страницы про любовь» ставили по всей стране, а лучший спектакль я видел, по-моему, в Казани. Там играли он и она, видимо, не очень хорошие актеры, но стра-

стно влюбленные друг в друга. У них была задача быстро проговорить текст и начать целоваться. Они бешено целовались весь спектакль, торопливо проговаривая свои реплики. На непривычную к таким вещам публику это производило ошеломляющее впечатление. Электричеством било со сцены.

Ты ведь знаешь, что на «104 страницах...» масса людей поженились и развелись. Женщины уходили от мужей к режиссеру или к герою. Чаше к режиссеру, потому что он все время объяснял... В этой пьесе есть безумная плотская радость, которая владела мной всегда. Радость абсолютно здорового тела, которое знает, что мир создан для чего-то веселого и хорошего.

— У вас сейчас лицо счастливое. Безмятежное. Заулыбались — это вам не о Сталине рассказывать. Не хотите каждый день жить с таким лицом?

— Я и живу иногда с таким лицом.

Поверь, дело не в том, что я надел бороду и придумал себе миссию. Я по правде чувствую необходимость ТОГО существования. А это существование — прекрасное, но это отдых. Отдых, который я не совсем заслужил. Роман — дико тяжелая вещь. Дико тяжелая. При всей моей легкости писания. Я никогда не правлю текст, я просто переписываю кусок полностью по нескольку раз, пока он не станет живым. Смотришь — день кончился. Сколько я написал? Должен по 25 страниц в день, а написал одну. Иногда половинку. Правда, первые страницы девяносто я написал за три дня. Но они у меня уже были, я их сочинил раньше.

Но все равно это такое упоение... Я впервые понял, что чувствуют графоманы. Сумасшествие. Всю жизнь прописал. Ужас.

— Когда «Александр II» выйдет в России?

— Когда я решу, кому его отдавать. В ноябре он выйдет в Нью-



Сталин, Ленин, Казанова, Александр II, последний из Романовых, Анатолий Эфрос, Никита Михалков, Татьяна Доронина и другие в двухсерийной премьере «РК»

Радзинская

Йорке. Дальше — финны, шведы, кто быстрее переведет. Ноябрь — самый активный по продажам месяц в Америке.

— Что американцам до Александра II? Почему они думают, что книга станет бестселлером?

— Книга называется «Александр II и подпольная Россия». Это история русского насилия, первая война с террором, превращение идеалистов в убийц, о чем мы говорили. Что такое реформы в России, — которые опасно начинать, но еще опаснее останавливать. Все темы взрывчатые. И там есть еще один герой. Если Александра II американцы не очень хорошо знают, то этот им прекрасно известен, — Достоевский. Человек, который пишет роман «Бесы» и за стеной которого живут бесы. Как воображение становится реальностью, как бесы дирижируют его смертью. Моя агентша американская, которая трудно читала предыдущие книги, в этой даже нашла ошибку. Несоответствие. Я был потрясен — оказалось, она два раза прочитала.

Что такое русский капитализм, русский идеализм, русский радикализм? Кто такие новейшие господа, как они называются у Некрасова? Там все очень подробно объяснено. Это в сто раз более современно, чем «Распутин». И там, кстати, есть история любви. Александр, донжуан, который ни одну фрейлину не пропускал, вдруг становится однолюбом... Быт Зимнего дворца, и в то же

время — подпольщики сидят пьют чай, и на столе лежит револьвер, из которого надо выстрелить в бомбу, чтобы все взорвалось, если нагрянет полиция. И все шутят. «Мы никогда так много не смеялись, как в то время», — пишут они, готовясь взорвать поезд с людьми. Не с Александром, а с людьми, там должна вся свита взлететь на воздух.

— Вам не кажется временами, что русскому человеку лучше вообще не знать собственную историю, настолько она болезненна, тяжела и безысходна?

— Чтобы она перестала быть болезненной и тяжелой, ее надо понять. История в России всегда была цензурной, она всегда была политикой, обращенной в прошлое. Ее никогда не было в виде истории, понимаешь? Страна, которая до революции не знала о кончинах собственных правителей. Они все спокойно скончались в собственных постелях — кто от «геморроидальной колики», кто еще от чего-нибудь. Ключевский все свои предвидения записывал в записные книжки. Истории не было.

— Но мы уж точно, приумножая исторические знания, только умножаем скорбь.

— Все, что мы узнаем, помогает нам не наступить еще раз на те же грабли. Надо выяснить, как наступили и почему, и что надо было делать, чтобы не наступить. При Сталине, при ком угодно можно было заниматься частностями. Псковским восстанием тыща шестьсот

такого-то года. А как умерла Новгородская республика, выбор России между Новгородской республикой и Москвой, то есть татарским написанием, этим нельзя было заниматься.

— Думаете, если вы расскажете правду, что-то изменится?

— Рассказано должно быть, начиная с учебников. Страна не имеет учебника истории. Это преступление. Я уверен, как были уверены все просветители, что просвещение очень важно. Это только кажется, что оно ничего не меняет. Все-таки французская революция закончилась цивилизованной Францией, а не какой-то чудовищной другой страной. Потому что все время говорилось, все время рассказывалось, все время дискутировалось.

Смердяков спрашивает у Григорьева: «А почему?..», размышляя об Евангелии. «А вот почему», — ответил Григорьев и больно ударил его по рукам». Если так отвечать на вопросы, ничего не будет.

Я занимаюсь историческим просвещением один. Что меня очень беспокоит. Да, я сделал это модным, после меня на разных каналах появилась история — но как отдельные события. А важны уроки. Все, чем я занимаюсь, — это урок. Какой-то вывод из того, что произошло. Убили царскую семью, убили много невинных семей, построили здание на крови, оно рухнуло. Это надо объяснять. А то приходят люди и говорят: ничего, что Иосиф Виссарионович уничто-

жил столько людей, но он же был государственным...

— Те, кто сейчас у власти, вас вряд ли слушают.

— Нет, они слушают. Президент мне рассказывал про одну мою передачу. Рассказывал даже, КАК он слушал. Зурабов, видимо, тоже слушает, потому что я периодически получаю от него какие-то поздравления.

— Это секретариат рассылает.

— Чтобы они меня послушали и сказали: ага!.. — так не бывает. Но слово все равно остается. Что-нибудь им пригодится, если слушали. Даже если не согласились.

— Не согласились — это грандиозная умственная работа. Просто начать глубоко, не тем мыслями заняты.

— Не уверен... Не в том проблема. Слушать и обсуждать — это разные вещи. Если бы люди сядились и писали: он сказал то-то, то-то и то-то, а мы не согласны, мы думаем так-то, так-то и так-то. С этого начинается внутреннее усваивание материала. А я пишу книгу о Распутине, очень трудную для Запада и очень нужную тут, и у меня лежат тома рецензий, вышедших на Западе. В Париже нет издания, которое не дало бы рецензию на «Распутину». В России не было издания, которое не опубликовало бы кусок из книги. Но вот она вышла — и ни одной статьи. Вообще. Не важно, какая книга, хорошая или плохая, во всяком случае это повод для обсуждения.

Общество читает, слушает, но

не обсуждает. За программу об Александре II я получил два «ТЭ-ФИ». Писали какие-то хорошие слова, но не было полемики. Вот вы спрашиваете: современная жизнь берет какие-то уроки? Видимо, нет. Не власть имущие должны меня слушать, а власть имущим надо объяснять. Писатель Гончаров пишет автобиографический роман про то, какой он ленивый. Немного в преувеличенной форме. Обломов на него проецируется абсолютно. Но берет Добролюбов и пишет, что, оказывается, это проецируется на всю Россию. Он создает из этого картину общественной жизни. Стране, чтобы в ней что-то менялось, нужно публичное обсуждение. А не рассказ о том, какой плохой Греш, предположим, потому что Греш сегодня, а завтра не Греш...

Для России, при всей моей огромной читательской аудитории, которую я собрал при помощи телевидения, книга «Сталин», книга «Распутин» — это пустые книги. Они не были обсуждены. Все идеи остались моими. Дело же не в том, убили ли Сталина, а дело в том, что не могли не убить. Никто не объяснил, что самая страшная вина Сталина — не в том, что он убивал людей, а в том, что он изменил души. Родил хомо советикуса, человека страха, человека лжи, привыкшего лгать даже в дневнике...

— **Вам нужен Добролюбов?**
— Не мне. Стране он нужен. Когда спрашивают, почему русская литература сегодня никакая, надо вспомнить, что они все работали на пару. Пишет Тургенев — слово «нигилист» становится нарицательным. Его объясняют, против него выступают, одни говорят, что это здорово, другие — что ужасно, царь пишет: «Это все нигилисты»... Тургенев в ужасе, он вообще не про это писал. А кто его

что самое страшное, если народ, неграмотный, ненавидящий реформы народ начнет сам решать свою судьбу. «Мы против этого», — писал он. Его посадили, все движение разогнали. Тогда он им оттуда, из тюрьмы сует бомбу. Это ответ. И нет события в мире, нет ни одной философской идеи того времени, которая прямо или косвенно там не затронута. И в центре стоит человек, делать жизнь с кого. Все знают, что он готовится к революции. Богатый человек, который ходит с бурлаками таскать по Волге суда, человек невероятной силы, который все свои деньги отдает студентам на пропитание... Великое произведение. Ленин прав — его перепахало. Я представляю, как читали — с горящими глазами. Это подпольная книга, которая вдруг вышла полным тиражом...

Мы с чего начали? С того, что обидно — центром обсуждения сегодня становится то, что просто не может быть центром обсуждения.

— **Детективщики в основном.**
— Каковы мозги, таковы и герои. Но свою работу я буду выполнять. Я обязан. Сейте разумное, доброе, вечное — я это делаю. Как обещаю.

— **Кому?**

— Емму. Я Емму обещал. Я отцу Александру Меню говорил, что буду это делать. Это был осознанный жест. Я оставил драматургию, когда в Москве одновременно шло девять моих пьес. Мне развязали руки, я знал, что одержу на этом фронте все победы, я был в полном всеоружии, но понял, что не имею права. «Николай», «Сталин», «Распутин» — это гигантский труд. Это схема. Мне нужно было читать по шесть книг в день, чтобы знать все источники. Именно источники, я же не пользуюсь литературой. Я всегда начинаю с чистого листа.

фигура для такого цвейговского описания. Я очень хочу написать его так. Я работал в его архиве в бывшем Институте Маркса — Энгельса. Когда-то институт Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина. Там его архив секретный, гигантский. И так мне нравилось его читать...

— **Вот он был графоманом?**

— Да что вы! Он революционный публицист, радикальный. Он имел огромный успех. Его книга «Что делать?» роману равна была в какой-то мере. Тысячи людей пошли в революцию, потому что он объяснил им, что совсем не надо ждать пролетариата, что достаточно нескольких героев. Это потрясающая, абсолютно анархическая книга. Герои могут изменить жизнь, группа героев. Что и произошло. Малочисленная партия перевернула жизнь страны. Если говорить о количестве испанской бумаги, то он, как Достоевский, все время страстно отвечал. Он врагу все время что-то объяснял. Вот меня заставил сесть за перо, чтобы кому-то что-то объяснить, невозможно... Я один раз сел, написал замечательный ответ, когда люди из Дворянского собрания опубликовали письмо, будто бы я в заглавии к «Николаю» перепутал слова «усмирить» и «умирить». Такой замечательный был ответ, столько сарказма... До сих пор висит в компьютере.

Меня удивило, что письмо Дворянского собрания безумно было похоже на статью Института Маркса — Энгельса по поводу того, что Шатров искал образ Ленина. Там были одни и те же выражения. Не то, что они цитировали, просто это советское мышление. Я наложил два текста друг на друга, а потом объяснил, что первая часть — про то, что «Ленин не мог...», а вторая — «Николай не мог...». Он, видите ли, не мог написать «усмирить», потому что он был великий миротворец. Он, который расстрелял лейтенанта Шмидта, и виселица работала, как она не работала в России со времен Ивана Грозного. Я был так счастлив, читая, что я не знаю русского языка, что я не различаю глаголы... Но я им объяснил, что, к сожалению, все-таки — усмирить. Потому что невиданные матажи грозят еще России. И поскольку я их чувствую, то это не слова Николая, а моя молитва Господу: спаси и усмири Россию...

Почитав, я подумал: много для них чести. Они того не стоят. Пусть поговорят, а я помолчу. И не ото-слал.

— **У вас изумительно уравновешенный характер. Это что — из чувства самосохранения? Здоровье бережете?**

— Нет. Просто я ленив. Да и смысла не вижу спорить. В споре истина исчезает.

— **Когда вас подрезают на дороге, вы как реагируете?**

— Никак.

— **Не хочется опустить стекло, зарвать с использованием идиоматических выражений?**

— Никогда. Я только реагирую,

— Каждый день. Вот сейчас как раз в компьютере висят два телефона. Образовалось какое-то движение, пишут, что в мою честь и просят, чтобы я позвонил.

— **Позвоните?**

— Нет. Я не отвечаю, это бессмысленно.

— **Какие силы обычно призывают под свои знамена Эдварда Радзинского?**

— Хорошие обычно. Демократические.

— **А монархические?**

— Было в начале. Сейчас уже нет.

— **Сталинисты?**

— Сталинисты — нет, никогда. Меня любят центристские движения. Я даже был в списке кандидатов в какой-то провинции. Как будто я баллотируюсь. Вовремя это остановили.

В какой-то маленькой газетке в Петербурге печатали якобы мой дневник, очень лихо составленный. Где я про какого-то депутата, который избирался в местные органы, — я про него язвительно писал. Те, кто мне это привез, кричали, что надо опровергать, обращаться в милицию... А мне очень понравилось. Смешно.

Я не член никакой партии и никогда не был членом. Я с ужасом смотрел, как люди публично сжигали партбилеты, как будто билет в чем-то виноват. Билет ни в чем не виноват, это книжечка такая маленькая... Если есть горечь, то можно покаяться. Некоторые стрелялись, когда у них рушились идеалы, но это, я думаю, излишне. В России стреляться не надо, здесь надо жить долго.

Я не подписал ни одного гадкого письма. Никогда. Если мне звонили, я спрашивал: а в чем дело? Мне объясняли. Я говорил: надо же, как интересно, а я ничего этого не знаю. И вешал трубку. И меня никто никогда за это не преследовал. Меня один из секретарей Союза писателей называл «какое, милые, у нас тысячелетие на дворе?». Я на него смотрел незамутненно. Если он мне что-то такое предлагал, я его спрашивал: а вы представляете, что я это сделал? — Нет. — Я тоже. И уходил.

Я не голосовал. Про это все знали. Я честно говорил, что я не голосовал, в который уже раз, потому что, во-первых, не знал, за кого, во-вторых, далеко ходить, а я очень ленивый...

— **И теперь не голосуете?**

— И теперь очень редко. Никогда голосую, если мимо иду. Я бы с удовольствием участвовал в активной политической жизни, потому что говорить люблю и очень люблю влиять, но зачем? Я и так выполняю свою общественную работу. Она же общественная у меня. Я достаточно искренне рассказываю все, что я думаю по поводу страны, и как бы я хотел, чтобы было. Времени нет. Там, наверху, сидят и подгоняют, говорят: пиши, пиши...

— **Вам не хочется уехать из России?**

— Никогда не хотелось. В семьдесят каком-то году, после того как меня шесть лет не выпускали, меня выпустили в Данию. У меня там была премьера в Королевском театре, очень успешная. И мне предложили остаться. Давали большие деньги, жилье как политэмигранту. А здесь меня действительно измучили, спектакли все снимали. И, уверяю вас, я стал бы замечательным датским писателем.

— **Андерсен номер два?**

— Андерсен все-таки не датский писатель. Он мировой. А я был бы датский писатель, быстро очень. Я сразу вхожу в страну, все там чувствую. Замечательная страна, она мне так нравилась, но у меня даже мыслей таких не было.

Подумаешь, спектакли снимали. Но ведь и ставили. На месте

власти, той власти, я не пропустил бы ни «Беседы с Сократом», ни «Нерона и Сенеку», не говоря уже о «Лунии». Чего-то я шесть лет ждал, чего-то четыре года, но в итоге все поставили. А теперь тем более, зачем мне уезжать?

— **Да просто, чтобы жить в спокойном, чистом месте.**

— А у меня очень спокойная, очень чистая квартира, вы же видите.

Если мне захочется, я поеду куда-нибудь. Раньше я любил ездить в Венецию. В маленький отель, на улице, параллельной каналу, сравнительно дешевый и очень удобный. И я там работал. Ходил по другой стороне: туристская левая, если лицом к Риальто, а я ходил по правой. Я там знаю такие улицы, которые только венецианцы знают... Неделю поживу — и назад. Периодически езжу в Париж. В крохотный такой отель, прямо в Люксембургском саду, можно бегать по утрам. Они оставляют мне лучшую комнату. Так хорошо пишется, такая тоска наступает сразу по стране... Рим для меня слишком большой, я его не чувствую.

Я не подписал ни одного гадкого письма.

Никогда. Если мне звонили, я спрашивал:

а в чем дело? Мне объясняли. Я говорил:

надо же, как интересно, а я ничего этого не знаю.

И вешал трубку

Хорошо во Флоренции. Там тоже есть маленькая гостиница, которая вполне подходит мне по деньгам и очень подходит по местоположению.

— **Судя по тому, что ваша гостиничная экономика весьма экономна, мировая слава вас не обогатила.**

— Конечно, не обогатила. Вы же видите, у меня быт скромный. Но я не могу сказать, что мне чего-то не хватает. Или я не имею того, чего хочу. Я больше и не могу иметь, потому что это обременительно. Мне вообще ничего лишнего не нужно. Я тут начал делать культурный центр и понял, что не справлюсь.

— **Свой культурный центр?**

— Ага. Но это уже в прошлом. Не потому что мне не дали, я сам не взял. Я не справлюсь в силу занятости своей. Хотя жалко, потому что я отобрал изумительную группу, хотел сделать передачу «Новый взгляд». Долго отбирал через Интернет молодых ведущих, но мне год ничего не давали, а за год они все разбежались — девушки вышли замуж, молодые люди работают, один в банке, другой менеджер, все пристроились, надо новых искать. И вообще, зачем мне всех уговаривать, что я буду бесплатно, за счет своего драгоценного, крайнего драгоценного времени делать передачу, которая нужна всей стране? Мне хотелось навязать новый язык, интеллигентный, но современный. Хотелось сделать очень московскую передачу и сразу — бросок куда-то на периферию. Условно говоря, Москва — Самара. Диалог. Все было продумано. Сколько я времени на это ухлопал... Потом так мучился...

Самое большое мое разочарование: я думал, что когда отпустят пружину, будет похоже на время Александра II. Взлет культуры. А он не произошел. В причинах не мне разбираться, но отсутствие Бога в течение 80 лет очень изменило души. Люди, вступившие в свободу, были абсолютно развращены. Развращены страхом, услужливостью, возможностью лгать постоянно. Поэтому все вылилось в разочарованный стел. В иронию по поводу лафоса, в иронию по поводу духа, в страх духовности. А литература высокая без Космоса не живет. Бах может говорить с Богом о подтяжках, и Он будет слушать, потому что пронзительно...

Я делал передачу о поэтах, и в

одной из газет была статья, где журналистка писала: ну сколько можно, надоела эта тема — про то, как советская власть убивала поэтов... Она не поняла, что передача была совсем о другом. Что это — у вас была тогда фраза — «нездешние вечера». История про нездешнее. История про дух, который убили. И гибель происходила, когда терялся дух.

Не то, чтобы эта тетка была плохая, или она меня не любила, но у нее был такой уровень мышления. Она понимала, что опять критикуют советскую власть, и не могла уловить главное. Самое большое преступление Сталина — в этом. В воспроизводимости бездуховных поколений. Эти — потомки тех. Они вышли на свободу и не знают, что с ней делать. Когда они вырвались на Запад и поняли, что то, что они пишут, там не читают, то вместо того, чтобы подумать, почему не читают, они сказали: а, в этой Америке вообще все тупые, застряли. И вернулись очень разочарованные. А их не читают, потому что сюжет не общечеловеческий. Форма английских деловых

писем: мистеру Такому-то и всем, кого это касается, она и есть формула литературы. Всем, кого это касается. А они пишут просто мистеру Такому-то. КГБ плохой, здесь меня преследовали, но все это не читается. На отсутствии духа все и происходит...

— **Как вы думаете, церковь в современной России утратила всякое духовное влияние? И как вы относитесь к истории с костями вашего героя, которые РПЦ так и не признала?**

— С костями — чего тут относиться? Они были отданы в угоду политическим интересам. Хотели помириться с зарубежной церковью, а они объявляли, что кости не те, они нам не верили. С другой стороны, надо было решить, святая царская семья или нет... Там был целый клубок противоречий.

Люди ошибаются. С того момента, как появилась церковь, один апостол пишет о ее ошибках, другой... Люди есть люди. А Бог поругаем не бывает. Я очень стесняюсь рассуждать по поводу церкви. У нее такой Начальник важный, что там за грехи и наказание другое. Я знаю только одно: Евангелие будет всегда. Все порушили, все храмы разбили, а опять кресты стоят на колокольнях, опять идет служба. Сколько деревьев ни красить, будет дерево зеленым. Влияние церкви никогда не закончится. Кончится влияние людей, которые будут обижаться и изгонять Его из своих душ. Оно сразу заканчивается, как бы они ни были одеты, в какие ризы, какими бы словами они ни говорили, даже Его словами. Сразу видно — пастырь или нет. Входишь в храм, он еще сильнее стоит, а видно. Удивительно да же.

Очень плохо, если одна религия станет преследовать другую. Потому что Бог — это любовь. У него нет наказания, у него есть прощение. А у людей наказание. Там, где любовь заканчивается, там, где начинается гнать, изгонять, Его там нет.

— **Бог был здесь, но уже ушел.**

— Да. Хотите маленькую притчу? Очень маленькую. Негра не пустили в храм. Он сидит на ступеньках и плачет. Рядом с ним сидит Христос. «Господи! Они меня туда не пускают!». Христос отвечает: «Но Меня они тоже туда не пускают...». Вот и весь ответ.

сага

спрашивает, про что он писал? Появляется «базаровщина», появляется Писарев, идет общественная жизнь. Общественную жизнь нельзя прикрыть сверху. Она была всегда, даже когда все остальное было закрыто. Где не тушили, там горело.

Знаете анекдот: птичка полетела на Запад посмотреть, как там. Возвращается, ее другие птички спрашивают: ну что? Она говорит: «Чудо! Там можно ч-чиркать все, ч-что хочешь!» — «Не может быть!» — «Правда! Ч-что хоч-чешь, то и ч-чиркай!» Только никто не слушает...

Сегодня журналисты заняты вопросами выживания, а не вопросами влияния. А тогда все знали, что приговор журнала «Современник» обжалованию не подлежит. Поэтому труднорочаемый роман «Что делать?» был популярнее «Войны и мира». И целое поколение живет по Рахметову. Троцкий потом расскажет, что он жил по Рахметову, и все народовольцы живут по Рахметову. Понять, в чем сила этого романа, невозможно...

— **Романа, откровенно говоря, не самого талантливого.**

— Для меня он талантлив, потому что нет ни одного вопроса времени, который там не затронут.

— **Но он же плохо написан.**

— А это не важно. Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Это роман для того, чтобы люди поняли, что делать. Он пишет, оболганный, посаженный в тюрьму. Он писал письма царю,

Наверное, я что-то в себе убил. Сказать, что я ни о чем не жалею, я не могу. Но вряд ли сейчас я избрал бы что-нибудь другое. Теперь я могу уйти на роман. Как уходит на пенсию. Я сделал эти три-четыре глыбы огромных...

— **Но «Ленин»-то будет или нет?**

— «Ленин» будет. Но он будет уже как отдых от романа. «Ленин» будет — мой Ленин. То есть я напишу биографию Ленина, для которой мне абсолютно достаточно его сочинений.

— **Первоисточников.**

— Первоисточников. Мне нужен Ленин, который рассказал о себе.

Для России, при всей моей огромной читательской аудитории, которую я собрал при помощи телевидения, книга «Сталин», книга «Распутин» — это пустые книги. Они не были обсуждены. Все идеи остались моими

А он рассказал о себе удивительно. Эти тома я с упоением перечитываю. Я овладел абсолютно логикой Иосифа Виссарионовича, а сейчас хочу овладеть ленинским стилем. Он очень цепкий журналист. Он все время замечательно противоречит самому себе, потому что меняется стратегия — меняется взгляд. Но при этом он остается верен себе, потому что все это — для революции. Он нечаевец. При том, что совсем далек от Нечаева. Толерантный при всей своей нетолерантности. Он благодарнейшая

если впереди не едет машина, а я очень спешу. Тогда я равнодушно нажимаю на гудок и гужу... Вообще я в гневе страшен, но это не относится ни к быту, ни к литературе. Я люблю попросить прощения, если кого обидел. Я конъюнктурщик... не конъюнктурщик, глупое слово сказал, я конформист. Ненавижу революцию. Зачем? Кроме ярости, они ничего не приносят. Если я прав, то я прав. А если нет, чего доказывать?

— **Вас, небось, все время тянут в политические партии.**